

Наталья Червинская

# Поправка Джексона

Рассказы  
и повести



Наталья Червинская  
Поправка Джексона  
*Серия «Самое время»*

16+

Первое, что отмечают рецензенты в прозе Натальи Червинской — ум: «природный ум», «острый ум», «умная, ироничная» и даже «чересчур умная». Впрочем, Людмила Улицкая, знающая толк в писательской кухне, добавляет ингредиентов: отличное образование (ВГИК), беспощадный взгляд художника, прирожденное остроумие, печальный скепсис и свободное владение словом. Стоит прочесть всем, кто помнит, какую роль сыграла поправка Джексона — Вэника в эмиграции из СССР. А кто не в курсе — им тем более. Поправку наконец отменили, а жизнь не отменишь и не переиграешь — она прожита вот так, как ее написала-нарисовала «чересчур умная» Червинская.

Наталия Червинская закончила режиссерский факультет ВГИКа и работала в юности на московском «Союзмультфильме». Позднее, в эмиграции, она стала известным художником-миниатюристом. В последние годы Червинская выступает как писатель.

Удивительным образом ей удалось сохранить во всем, что она делает, профессиональные навыки кинематографиста-мультипликатора, создающего каждый раз заново маленький автономный космос, существующий по собственным законам.

Если говорить о рецептуре, которую Червинская использует как автор рассказов, то состоит она из редких ингредиентов: природного ума, отличного образования, беспощадного взгляда художника, врожденного остроумия, печального скепсиса, свободного и непринужденного владения словом.

Биография Наталии Червинской повторяет траекторию движения многих людей, покинувших Россию и вынужденных уже во взрослом состоянии обучаться заново ходить по новому континенту, заново учиться говорить, понимать простые вещи и сложные понятия. Это — труднейший путь, но этот путь дает уникальную возможность прожить как бы не одну, а две жизни. Именно на перекрестке двух миров — России времен заката советской власти (о чем мы и не догадывались, полагая, что советская власть вечная и бесконечная) и Америки, тоже на точке глубокого перелома (о чем только сейчас мы начинаем догадываться), выросла эта книга — умная, беспощадная, элегантная и печальная.

*Людмила Улицкая*

В статье 2432 Кодекса законов США, известной как «Поправка Джексона — Вэника», принятой 3 января 1975 г., говорится, что на страны с нерыночной экономикой, отказывающие своим гражданам в праве на свободную эмиграцию, не распространяются нормальные торговые льготы и что США не будет заключать с этими странами какие-либо коммерческие соглашения.

Отчасти в результате принятия поправки Джексона — Вэника в семидесятых-восьмидесятых годах из СССР смогли уехать сотни тысяч людей, известных как «эмигранты третьей волны».

## **РАССКАЗЫ**

## МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ ПИТТСБУРГА

Молодой человек из Питтсбурга, двадцати пяти лет, приезжает искать корни. От матери он получил ограниченный словарный запас, большой чемодан с подарками и короткий список адресов тех ее друзей, которые еще не уехали из страны и не умерли преждевременно.

Первым в списке — адрес дома, где проходили четверть века назад достопамятные Ленкины проводы. Спроектированный во времена модернизма и конструктивизма, то есть в духе абсолютного презрения к человеческой мягкотелости, дом давно уже утонул в захлестнувшей его мелкобуржуазной стихии и напоминает своей эстетикой тришкин кафтан. Бетонные лоджии забраны разноцветными деревенскими фанерками, разномастными кирпичами, превращены для увеличения метража в верандочки. Кафельная, напоминающая о пыточных камерах облицовка осыпается в продранные подвесные сетки. Трубы для газа идут по фасаду во всех направлениях в нелегальные частные кухни. Запланирована была тут когда-то футуристическая домовая фабрика-кухня, но она осталась недостроенной. Гораздо целесообразнее было бы с самого начала построить тут домовую тюрьму или, по крайней мере, КПЗ, так как почти всех жильцов дома сажали многократно, оптом и в розницу.

Обо всем этом молодой человек не имеет ни малейшего понятия, но дом поражает его своим сходством с Центром Помпиду, Музеем современного искусства в Париже, у которого тоже все трубы и кишки наружу. Дом, как и Центр Помпиду, является произведением постмодернизма, хотя молодой человек догадывается, что постмодернизм здесь не постиндустриальный, как полагается, а фольклорный, кустарный, доморощенный.

Все это совсем не похоже на его сны. Ему иногда снились эти таинственные места, из которых произошла мать, и эти знаменитые проводы, про которые ему рассказывалось с младенчества. Он давно уже решил, что мать его, Элен, была настоящим человеком шестидесятых годов, принадлежала к коммуне хиппи. И снились ему бесконечные анфилады дворцовых зал, где плывут под имперскими люстрами облака марихуаны, отражаясь в золотых зеркалах, где танцуют друзья матери, дети-цветы, в расшитых кафтанах, в меховых ушанках...

Провожали Лену четверть века назад в этом доме, в квартире старых большевиков, родителей Марика. Большевики поженились по заданию партии, и Марик этот, иначе Марлен, родился у них очень поздно. По загадочному стечению обстоятельств большевики никогда не сидели; сел вскорости, после и частично в результате проводов, уже сам их ненаглядный Марленчик.

Все три дня проводов происходила невероятная, скоротечная, сокрушительная мартовская оттепель, и прозвали это событие впоследствии Мартовскими Идами, концом прекрасной эпохи.

Квартира постепенно заполнялась бутылками, пустыми и полными, и если положить голову на стол — а многие клали, — то этот лес зеленого и белого стекла казался далеким чужим городом стеклянных небоскребов, тем более что многие бутылки были из валютного магазина, с экзотическими этикетками.

В первый же вечер неожиданно появилась легендарная красавица Идея. Раздраженная тем, что Ленка находится почему-то в центре внимания, она с порога сообщила, что и ей, Идее, дали разрешение на выезд.

После этого никто уже не помнил, что Лена уезжает, провожали Идею; почему и стали называть происходящее Мартовскими Идами. В первый день кто-то, запутавшись, закричал: «Горько! Горько!» — и все полезли целоваться с Идеей, а не с Леной. На второй день Идея вскочила на стол, сметая большевистский хрусталь шлейфом черного парижского платья, и рыдала: «Прощай, Россия!».

Лена, лишенная своего звездного часа и всеобщего внимания, подумала: если я зарыдаю такое, меня отведут в ту комнату, где пальто и куртки свалены, и мокрое полотенце на лоб положат. А ей все можно. Наивная Лена даже подумала: ну что в ней такого особенного?

Лена уезжала, как все, к воображаемым родственникам якобы в Израиль. Но легендарная Идея ехала в Прованс, к французскому православному жениху, вернее, к пятому мужу, потому что подпольный батюшка их уже тайно обвенчал. Хотя ехала она тоже по израильскому приглашению от третьего мужа, отца ее четвертого ребенка. Теперь остающиеся местные мужья сидели по всем углам и глядели, как мрачные коты. Подпольный батюшка просидел все три дня благодушно и благостно, любуясь на свою духовную дочь Идею.

В этой компании многие путали свальный грех с соборностью. Батюшка принимал у них исповеди и привык ко всему.

Идея была истово верующая: пекла куличи, вышивала стихари, рожала. Новые, свежевлюбленные, и старые, брошенные, мужья прощали ей все, хотя все они были рафинированные эстеты и злоязычные снобы. Красота ее производила впечатление серьезного явления природы, вроде водопада или землетрясения. Люди понимали, что просто находиться с ней в одной комнате уже было событием, о котором стоило потом вспоминать и рассказывать.

Девушки ее победам и парижским платьям даже не завидовали, кроме дуры-Таньки. Но у дуры-Таньки вообще земля была плоская и все равны, и она большой разницы между собой и Идеей не осознавала. Жизнь ее научила, что важнее всего умение и готовность использовать свои половые органы, а остальная внешность — дело десятое. По этой части Танька знала себе цену, вот со всем остальным были неприятности. На второй день проводов она стала тосковать, потому что опять ничего не запомнила и боялась, что сотрудник, к которому она ходила с отчетами, опять ей доброго слова не скажет, а станет ругать дурой. Одного из гостей, искусствоведа, она страшно жалела: узнала случайно, что его скоро заберут. И еще в первый вечер он провожал ее, так она, о чем по дороге разговаривали, ничего не запомнила, а вместо того от жалости неожиданно дала ему в подъезде, здрасте пожалуйста, ну что за дура такая.

Хозяин квартиры Марленчик занимался в основном тем, что носился по городу, все знал и про все рассказывал. Если ему категорически запрещали рассказывать, то он таинственно намекал.

— Я был вчера в одном доме... — говорил он. — Я разговаривал с одним иностранцем... Я иду вечером в одно место...

После встречи с ним оставалось впечатление, что в городе кипит бурная жизнь, хотя ничего особенно не кипело.

По призванию и темпераменту Марленчик был вундеркинд с овальным лицом отличника, нежной кожей и лихорадочным румянцем. Он с детства знал много длинных и сложных слов. Он и теперь употреблял много слов. Матерные и непристойные слова он произносил в светских разговорах особенно солидно и отчетливо, как никогда не произносят их люди, у которых эти слова вызывают живые ассоциации.



Во время проводов Марленчик бегал из комнаты в комнату, находясь всюду одновременно и все больше возбуждаясь от невероятно удачного мероприятия, от скопища людей, обладавших широкой известностью в узких кругах. Притом у него была странная надежда утаить проводы от родителей, которые отдыхали в Барвихе. В первый день они с Леной призывали всех открывать форточки, но уже к ночи от запаха мокрой обуви и сигаретных бычков в томате — все гасили сигареты прямо в тарелки — и от удушливых перегретых радиаторов в воздухе повис такой топор, что форточки не помогали. Необходимо было открыть заклеенные на зиму окна. К этому Лена подключила художников-нонконформистов. Им всегда поручали такие дела, где сила есть — ума не надо. Нонконформисты поручения ловко выполняли, не прилагая никаких физических усилий. У них, единственных в этой компании, был глаз и умение обращаться с инструментом.

Внизу, во дворе, молодые топтуны наружного наблюдения слышали вырвавшийся из окон шум. По количеству децибелов они определили, что и градусов там, наверху, было уже немало.

Теплело так быстро, что в первый день гости проваливались у подъезда в сугроб, на второй — в снежное крошево, а на третий день проваливались уже в студенистую лужу. Стукачи наружного наблюдения злорадно фотографировали проваливающихся.

Нонконформисты взломали окна и всю первую ночь пили на кухне. В те времена еще не начался концептуализм, и художникам полагалось не языком молотить, а молча забивать гвозди в подрамники. Эти художники, трое, пившие на кухне, молчали великолепно.

Известно было, что произносили они только два слова: «Нолили?» и «Выпили?». Они никогда не говорили даже: «Сбегаем?». У них было шестое чувство, когда сбежать. Они деловито собирали со всех деньги, но бежали всегда сами, потому что имели взаимопонимание с таксистами. Таксисты же были необходимы, чтоб доехать до дежурного гастронома или купить тут же, на месте, из багажника.

Никто не видел их по отдельности, всегда втроем. Как будто они срослись, как в грибнице три боровика или как граждане города Кале работы Огюста Родена — они тоже были огромные и бородатые.

Когда на второй день нонконформистов прогнали с кухни, они перешли пить в кабинет старого большевика, где скромно

сели на пол возле тахты. На реквизированном паласе висели скрещенные буденновские шашки и фотографии старого большевика с нерасстрелянными соратниками; расстрелянных он по мере расстреливания сжигал. Под тахтой были три огромных глубоких ящика, которые Марик редко выдвигал, потому что хранившийся там самиздат читать ему было некогда. Он все время носился по городу, а читать Джиласа или «Хронику текущих событий» в метро даже Марик считал излишним. В метро он читал «Камасутру».

На тахте сидела старушка, вдова Серебряного века, и рассказывала о том, как они с поэтом Иваском в двадцать третьем году стояли в очереди за картошкой.

Ее благоговейно слушали два члена Союза писателей и большая рыжая немка-издательница, любимая всеми за поразительное знание блатной лексики.

Вдова пила водку из большевистского фужера и заедала любимым еще с гимназических лет бельгийским шоколадом, специально для нее привезенным. На ней было крепдешинное платье в цветочек, еще тридцатых годов, а под платьем — трико до колен. В лагерные годы она научилась считать теплое белье предметом роскоши. Рассказывала она по-немецки. Члены Союза, не знавшие иностранных языков, смеялись всякий раз, услышав знакомое слово «картоффел».

Между собой писатели не разговаривали, они презирали друг друга. Каждый из них считал другого бездарью и конъюнктурщиком. Так оно и было. Хотя немецкой издательше было известно, что оба они писали еще и свое, заветное, для души, и публиковались на Западе под псевдонимами. Интересно, что под псевдонимами они друг друга читали и уважали.

А выгнали художников из кухни, потому что там инакомыслящие собрались, диссиденты, им надо было написать открытое письмо.

Сидели в тот вечер на кухне два истопника-историка, ночной сторож-поэт, один доктор математики и другой — органической химии, у которых еще была работа, безработный кандидат искусствоведения, один дьякон из генетиков, два еврея, боровшиеся за права баптистов, старая дева-машинистка, которая все благоговейно перепечатывала на своей «Эрике», отъезжающая на Запад Лена и молодой человек Георгий.

Накануне у одного из истопников был обыск, и теперь им надо было написать открытое письмо, с тем чтобы повыгоняли с работы и пересажали всех остальных. Никакого другого практического результата от письма не предвиделось, и это всем присутствующим было хорошо известно. Перевезти письмо на Запад должна была Лена. Предполагалось, что ее не будут шмонать вследствие ее незначительности. Лена редко открывала рот, ее в семье приучили держать рот закрытым. В детстве — чтоб горлышко не застудить и не наглотаться микробов, а потом — чтоб не сказать чего лишнего. «Сейчас такое время, — учили Лену, — когда не надо говорить ничего лишнего. Сейчас надо особенно молчать».

Лена своим инакомыслящим друзьям чрезвычайно завидовала. Она завидовала простоте их жизни. Сколько она себя помнила, все кругом боялись чего-то, крутились, изворачивались и делали лишнее и бессмысленное. И только эти люди делали то, что в этой стране и в это время имело смысл делать: то есть кричали караул. И она была уверена, что сидит среди каких-никаких, но все-таки самых замечательно сумасшедших и свободных людей, которые ей когда-либо в жизни попадались и попадутся. Так, впрочем, оно и было.

Никто этим инакомыслящим спасибо не сказал ни тогда, ни впоследствии. И действительно, что их заставляло портить жизнь себе и окружающим? Существовала популярная теория, что действовали они из тщеславия. Хотя слава в этой области неукоснительно приводила к полной изоляции и лишению жиров, белков и углеводов, которых все-таки каждому человеку хочется.

Может, у них мозги были такие инфантильные, без перегородок. У нормальных людей мозги были разделены на отсеки, как грецкий орех. В одном отсеке существовало знание о том, что, мол, живем мы все на братской могиле — ужас, ужас. В другом жила радостная надежда, что к праздникам на службе выдадут продуктовые заказы, которые назывались принудительными наборами. Нельзя было выбирать, что дадут; но иногда давали курицу, иногда даже югославскую баночную ветчину. В третьем отсеке находилась гордость великой национальной литературой: слезинка ребенка, во глубине сибирских руд, над кем смеетесь — над собой смеетесь, и так далее. В четвертом — не меньшая гордость тем, что все-таки теперь не голодаем.

Много чего можно сделать с людьми, которые гордятся тем, что все-таки не голодают.

И не только не голодают. Еще больше люди гордились, что просто так теперь не сажали, что террора не было: давили более предсказуемым способом. Сажали только тех, кто лез на рожон. Хотя границы, где рожон начинался и кончался, не были точно определены; тут следовало руководствоваться инстинктом.

А у этих правозащитных и инстинкта не было, и мозги их инакомыслящие были без перегородок, всё у них в мозгах сливалось, как у маленьких детей. Может быть, они еще в дошкольном возрасте выдирали потную ручку из цепкой родительской руки, в младших классах не слушались классных руководительниц, на работе провоцировали ненависть руководства. Патологическое инакомыслие — это ведь был не политический термин, а медицинский. Непреодолимая потребность ляпнуть лишнее, задавать глупые вопросы, называть вещи своими именами, общую солидарность и солидность нарушить; эту свойственную всей стране и культуре мрачную тупую солидность оскорбить каким-то ерничеством дурацким, ненужным фрондерством.

Вся их оппозиционная политическая программа заключалась в том, что они решили нормальное считать нормальным и делали вид, что это неподсудное дело. Например, почему-то им казалось неприличным жить в стране, где убили несколько миллионов человек и сделали вид, что ничего особенного. Поэтому они пытались изучать историю по реальным документам и свидетельствам очевидцев. Или они считали, что человек может сочинять стихи и показывать их своим знакомым, не подав текста на предварительную цензуру. Или — что нонконформисты имеют право рисовать не только в стиле середины девятнадцатого века, но и так, как это делали к концу девятнадцатого и в начале двадцатого. С другой стороны, они считали, что арестованных надо защищать и семьям их помогать, как это делалось в девятнадцатом веке, хотя уже с начала двадцатого подача калачика каторжанину преследовалась законом. Деятельность их напоминала не Талейрана, а скорее Франциска Ассизского. Это он, задумав построить храм, начал таскать на спине камни и складывать их на городской площади в надежде зажечь остальное население личным примером. Хотя его-то сограждане и в самом деле построили храм. Во времена Средневековья

гораздо легче было работать в этом жанре — люди были впечатлительнее.

Всякий раз, добавляя к тексту письма какой-нибудь новый пассаж, эти душевнобольные прекрасно знали, что добавляют себе срок. Лена давно про себя решила, что при подобных обстоятельствах надо просто подписывать, что дадут; хотя текст как таковой Лену все-таки беспокоил. Ей казалось, что логика все время подменялась эмоциями и голословными утверждениями; она в глубине души очень любила логику и факты. Но Лена знала, что все остальные считали это обывательски-узким методом мышления, и своего мнения не высказывала, хотя у нее язык чесался. Да и понимала она, что важна тут не стилистика.

Но подписать письмо Лене в тот вечер так и не пришлось. Письмо все никак не дописывалось, а ей стало плохо. Кандидат искусствоведения, Костенька, повел ее прилечь. Ленка всем подробно объяснила, что напилась в стельку, чтоб не подумали, что она трусит.

Трусил почему-то сидевший с ними на кухне молодой человек Георгий.

Георгий был тогда совсем молоденький, но физиономия у него была пухлая, с уже намечавшимся вторым подбородком при полном отсутствии первого. Более того, работал он в институте какого-то не то ленинизма, не то дружбы народов. Они все думали, по витиеватости мышления и по молодости лет, что человек с такой очевидно противной мордой стукачом быть не может. Они ошибались.

Он напоминал себе, что слушает все это по долгу службы, что у него есть допуск. Именно он и его коллеги были самыми образованными и информированными людьми в этой анархической стране, они мыслили государственно, без ерничества и фрондерства, они были патриотами, на которых лежало... — ну, и так далее, и так далее. Люди на кухне сидели важные, у каждого из них был свой куратор, лично занимавшийся ведением дела и просматривавший все доносы. Георгий знал имена-отчества кураторов и их высокий ранг, уважал сидевших на кухне и ловил и запоминал каждое их слово.

Георгий пошел в стукачи, потому что ему с самого детства хотелось жить, как порядочные люди. Выросши в коммунальной квартире, Георгий сведения о стиле жизни порядочных людей почерпнул целиком из литературы. Про мораль и нравственность он пропускал, этим его и так

пичкали. Он читал про экзотическое, недоступное: про еду, жилье, одежду. Про шмотье, жилплощадь, жрачку. Толстой, например, писал, что у порядочного человека должно быть чистое белье и чистые, холеные ногти. Булгаков подарил Георгию мысль, которая осталась его девизом на всю жизнь: осетрина должна быть первой свежести! И потом, когда он уже начал сотрудничать и имел допуск в спецхран, тот же любимый автор подарил ему другую великую мысль: обедать надо в столовой, а спать в спальне!

Он был от природы брезглив и чистоплотен и хотел иметь собственный индивидуальный санузел, по возможности не совмещенный, а раздельный. Талантов у него было мало, и таланты в те времена не особенно помогали, скорее наоборот. Помогало иногда обаяние, но этого у Георгия не было совершенно, равно как и совести. Совесть, однако, товар в своем роде уникальный: чем ее меньше, тем легче ее продать. Притом продавать совесть можно не один раз, а многократно, и затоваривания никогда не наступает: чем больше все кругом совесть продают, тем больше на нее спрос.

Белобрысый искусствовед Костя, который повел Лену прилечь, верил в облагораживающую силу страдания. Костенька думал, что у интеллигента всегда должно быть плохое настроение, что мыслящему человеку необходимы внутренние мучения, чувство вины, тоска, неудовлетворенность жизнью, ранимость и одиночество, особенно чувство вины и одиночество.

Костя считал, что страдания украшают человека, и был в этом совершенно прав. Известно, для чего нужен павлину хвост. Вот и Костя — что бы он делал со своими торчащими зубами и унылым носом, если бы не душевная тонкость?

«Костя такой тонкий!» — говорили девушки.

Костя не прилагал никаких усилий, он даже предпочитал платонические отношения. Он бы охотно помучался неразделенной любовью, но этого ему не было дано. Девушки говорили: «Он такой ранимый!».

По количеству побед и удивительных романов Костенька намного превосходил Идею.

С Леной у него была давняя дружба и пока еще платонический роман. Они зашли в большевистскую спальню, где было темно, тихо и ненакурено, потому что Марленчик строго запретил туда соваться. Лену Костенька уложил среди пальто и курток, сам же сел рядом и стал смотреть с тоской. Знал ли он в этот момент, что похож на

брошенную собаку, — неизвестно, но Ленка автоматически протянула руку и погладила его по голове. Руку она отдернула, потому что волосы искусствоведы в те времена мыли нечасто. Но тут же устыдилась: вот она, будущая иностранка, уже брезгает простым диссидентом, которому черт-те знает что предстоит, — и погладила опять.

Костя тогда произнес фразу, которая сработала недавно с одной француженкой:

— Вот, ты уезжаешь, а нам тут оставаться...

Ленка тогда прижала его голову к своему плечу. Костя ей не особенно нравился, ей больше нравились черненькие, но ведь и вправду он тут останется, и загребут его почти наверняка.

Костя тогда поцеловал Лену целомудренно в лоб. Впрочем, целомудрие это было уже чисто ритуальное, так как дальнейшее было неотвратимо. Ленка ему не особенно нравилась, но она уезжала, и вот этими самыми глазами увидит Рим, вот этими самыми ногами будет ходить по Парижу...

Сексуальная революция, наступившая в других странах вследствие изобретения противозачаточной пилюли, в этой компании проходила без каких-либо научно-технических оснований и держалась исключительно на жалостливости боевых подруг. Мозги у Кости были устроены так, что думать он мог только абстрактно; для него реальный мир служил только поводом для создания концепций, так же как искусство существовало только как объект искусствоведения. Бытовые детали и практические расчеты он презирал. Происходившие от этого презрения к деталям тяжелые последствия Костя никогда не связывал с причиной, то есть с собственными действиями, а всегда с первопричиной — с тоталитарной системой. Теоретически он хотел быть джентльменом и оберегать своих возлюбленных, но в последний момент всегда забывался в порыве страсти. Придя в себя и выкурив сигарету, Костя решил, что во всем виновато ханжество властей, из-за которого нет в продаже необходимых средств. И кроме того — авось обойдется.

Он оказался неправ.

Позднее Лена хотела потихоньку выбраться из большевистской спальни, но прямо в дверях столкнулась с Георгием. Он ей был почему-то на редкость противен. Уж на свои-то проводы она его точно не звала, так откуда же он узнал и почему возник в самом начале, еще до того как

нонконформисты притащили первые сумки с порученной им выпивкой? Ленка посмотрела на Георгия, как солдат на вошь, что Георгию было крайне неприятно; с ним и так все девочки танцевать отказывались. Он подумал, что ты, мол, сучка, у меня еще попляшешь; хотя ему было понятно, что Ленка покидает родину через две недели, и поплясать он ее уже не заставит, не успеет. Связей у него таких не было.

Ленка пошла в гостиную, где девочки щипали корпию.

Гарвардский славист принес два блока «Мальборо» для передачи арестованному. Сигареты передавать было нельзя, только табак для самокруток, и девочки расщипывали валютные сигареты, а табак ссыпали в глубокое блюдо. Блюдо это, реквизированное когда-то у коллекционера, старая большевичка не любила за уродство — оно было расписано Татлиным — и держала на кухне. Девушки щипали сигареты торопливо, так как несколько пачек у них уже увели и раскурили гости. Лена села помогать, но она все думала о происшедшем и означает ли происшедшее, что она Костю любит? И она курила безостановочно. После трех валютных сигарет подряд ее стало еще хуже мутить, и она вышла подышать на лоджию.

Там стояли, повернувшись друг к другу идентичными умными носами, юный славист из Гарварда и младший научный сотрудник из ЦГАЛИ. Они разговаривали о взаимоотношениях Цветаевой и Рильке.

Наверху, над колодцем двора, висела мартовская луна, внизу шныряли мартовские кошки, и в них швыряли камнями молодые озлобленные стукачи. Пахло тающим снегом, то есть отчаянными надеждами, и тревожными предчувствиями, и романтическими приключениями. Славист думал: чтоб вот так свежо и восхитительно пахло талой водой и ночной сыростью, нужно, чтоб лежал этот снег очень долго, месяцами сдавливаясь, промерзая и серея в безнадежной тусклой темноте. Оттого и люди эти такие свободные, думал он, никогда в жизни не встречал я таких свободных, совершенно отчаянных людей.

«Ах, какая ночь, — думал романтический славист. — Какая удивительная ночь». И казалось ему, что мир полон возможностей, что всё впереди и что он влюбился: то ли в Идею, то ли во всех присутствующих, а вернее всего — в младшего научного сотрудника.

Уйдя с лоджии, бедная Лена натолкнулась еще и на Костину жену. У Кости была вроде как жена; он женился фиктивным браком на однокурснице, которой угрожало



распределение в Каракалпакию. Потом они стали и комнату вместе снимать, для экономии. Вообще эта вроде как бы жена Костю очень поддерживала. Фиктивная быстро зашептала Лене на ухо, что, мол, она в положении; они с Костей решили на этот раз рожать, потому что одна надежда — ребенок, может, не заберут, бывали случаи...

После трех дней проводов Лена возвращалась домой пешком в состоянии уже не похмелья, а почти наркотического транса, стуча зубами от недосыпа и возбуждения.

Город за эти три дня не только оттаял, но и начал подсыхать, вроде бы и почки какие-то начинали наклеиваться, и пахло теплом. Людей никого не было, утро было поразительно, пронзительно светлое, как галлюцинация. Она смотрела на город уже почти уехавшими глазами, и он казался уже почти воспоминанием. А впереди следовало ожидать одного: совершенно ничем не ограниченной, абсолютной свободы в свободном мире...

Отчет стукачей наружного наблюдения был посвящен почти целиком действиям художников-нонконформистов, упоминалось примерное количество добытых ими бутылок. Фотографии не вышли, потому что управдом так и не ввинтил лампочку у подъезда, хотя участковый его заранее предупреждал. Микрофонные записи тоже оказались совершенно непригодными и не поддающимися расшифровке. Там в основном прослушивались голоса Эллы Фитцджеральд, Эдит Пиаф и Галича с Окуджавой. Двое последних, впрочем, присутствовали лично. «Плачьте, дети, — прослушивалось на записи. — Умирает мартовский снег». И дальше — неатрибутированные всхлипывания. Плакал гарвардский славист.

После Мартовских Ид бедный славист попал в списки, и ему больше не давали визы, лет десять он никаких свободных людей не видел. Не видел он больше и младшего научного сотрудника, хотя понял в ту ночь, что влюбился на всю жизнь именно в него, а не в Идею. От всего этого пострадала его карьера и научные изыскания; он стал мелким профессором, вовсе не в Гарварде, как было ему на роду написано. Живет он со своим партнером, тоже профессором, социологом. Социолог человек хороший, но из Миннесоты, добродетельный и либеральный до одурения, член обществ и организатор протестов. Вегетарианец, конечно. И слависту иногда кажется, что живут они в гражданском браке не по

любви, а для общей либерализации нравов. Ничего похожего на ту ночь в его жизни больше не случилось.

Судьбы нонконформистов, граждан Кале, несмотря на единство, сложились совершенно по-разному. Только один из них, бывший монументалист, впоследствии окончательно спился. Он бродил по улицам и делал, из чего под руку попадалось, крошечные, почти не различимые глазом произведения искусства, оставляя их на скамейках в метро, на траве в парках, возле фонарных столбов. Особенно он любил оставлять их в автоматах для газировки. Там освещение было хорошее, а граненый стакан можно было взять в виде гонорара.

Другой бросил пить совершенно, две недели на трезвую голову размышлял об искусстве и о своем месте в нем, после чего повесился в своей мастерской на Масловке.

Третий стал иеромонахом в Оптиной пустыни.

Кроме тех двух недель на Масловке, так неприятно завершившихся, никто и никогда о качестве их искусства всерьез не задумывался — до такой степени биографии их были выдержаны, и закончены по стилю, и характерны для эпохи. Именно в результате этой эпохальной характерности все трое висели на объехавшей мир ретроспективной выставке «Здравствуй, Россия!». Все трое были представлены портретами обнаженной Идеи, с которой у каждого из них было свое незабываемое прошлое.

Французский жених ждал появления Идеи в Провансе, но так получилось, что при пересечении границы, дней через пять после проводов, попался ей восемнадцатилетний хасид, с которым произошел у нее грех. Она сходила к исповеди, покаялась в хасиде и думала, что всё. Но хасид оставил ей на память брошюрки. Хасидские брошюрки покорили Идеино сердце своей простотой. Она за два-три месяца выучила на скорую руку Пятикнижие Моисеево, с энтузиазмом прошла все необходимые обряды и уехала в Израиль, где вышла замуж в быстрой последовательности за двух-трех евреев и народила на почве иудаизма еще больше детей.

Недавно фотография ее появилась на обложке журнала «Тайм». Она защищает от эвакуации свое поселение в Газе, стоя на крыше и воздевая руку к небу. В руке у нее бутылка с какой-то дрянью, которой она собирается поливать бедных израильских солдатиков, мальчиков и девочек. Она все еще очень хороша, только очень уж похожа на боярыню Морозову со своими впалыми щеками и горящими глазами, с ортодоксальной косынкой на голове.

Конец ознакомительного фрагмента.  
Приобрести книгу можно  
в интернет-магазине  
«Электронный универс»  
[e-Univers.ru](http://e-Univers.ru)